



## **Б. ЗАЙЦЕВ**

### **Жизнь с Гоголем**

«После вечернего чая — со сливками, горячим хлебом, ледяным маслом, в промежутке до ужина, под висевшей над столом лампой отец читал Гоголя. Мать шила. Девочки вязали. Глеб сидел рядом с отцом и благоговеино смотрел ему в рот.

Казаки носились по невиданному полю перед фантастическим Дубном и сражались, подобно героям Илиады. Все они были великолепны, громоподобны и невероятны. Но высокий звон речи гоголевской сотрясал душу, волновал ребенка, владел им, как хотел. Да и отец, хоть не дитя, читал с волнением. Когда дошло до казни и Остап в терзаниях на эшафоте не выдержал, крикнул: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты все это?», а Тарас ответил: «Слышу», — отец остановился, вынул носовой платок, поочередно приложил к правому, левому глазу. Глеб встал, подошел сзади, обнял его и поцеловал — этим хотел выразить все восхищение свое и Гоголем, и отцом. Ему показалось, что и он мог бы выдержать эти мучения, а отец был бы Тарасом».

Так описывает современный писатель первую встречу ребенка с Гоголем. Отец мог бы читать что-нибудь и из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Мальчик тоже восхищался бы. Но «Тарас Бульба» сильнее. Все в нем ясно, широко, увлекательно. Поэзия величава. Ярок сюжет, нехитра психология, в громе и звоне тонут преувеличения, и простоватое прославление казаков рядом с посрамлением Польши как раз укладывается в детской душе.

А разве «Страшная месть» не очаровывала? Колдун, Катерина, красные жупаны, таинственный замок, мертвецы, встающие из могил, грозный Всадник в Карпатах — все это пронзает, наводит

ужас мистический, подобно синей грозовой туче, надвигающейся неумолимо. Нечто действительно страшное дойдет и из «Вия». По-другому, тонкой, но непобедимой печалью покорят «Старосветские помещики» — вещь необыкновенная еще и тем, что человек остается ей верным на всю жизнь: с детского возраста по зрелый.

Если прибавить рассказы «Вечеров», то, пожалуй, это и будет «Гоголь для юношества». Встреча с ним делает читателя верноподанным поэта, но показывает лишь часть Гоголя: часть живописнейшую, ярчайшую, природно-малороссийскую, с чертовщиною еще полусказочной, где все тонет в южном великолепии.

Замечательно, что, когда Гоголь явился в литературе, встречен он был шумным успехом — и преимущественно как юморист! Смеялись наборщики «Вечеров», помирали со смеху все, кому Гоголь читал сам. На представлении «Ревизора» хохотал император Николай.

Взрослые смеются. Но вот дети, впервые с Гоголем знакомящиеся, серьезны. Мальчик, которому вслух читал отец «Тараса Бульбу», замирал при убийстве Тарасом сына, в описаниях боев, казни Остапа, но комические сцены начала, еврей Янкель и все «смешное», с ним связанное, пропускалось мимо ушей. Все пьяные казаки, разные Чубы или Солохи, Хиври «Вечеров», над которыми задышался от смеха отец, ребенку вовсе не были интересны.

И он не исключение. Можно представить себе мальчика или девочку, которым приснился ночью колдун или Вий, или кто замечается над оставшимся в одиночестве Афанасием Ивановичем. Но не вижу ребенка, вдруг вспомнившего что-нибудь смешное из Гоголя и помирающего со смеху.

Гоголь юной душе предстоит не весь, но героическо-поэтической своей стороной.

\* \* \*

Гоголь семьи и детства есть часть поэтического мира, окружающего ребенка. Это и часть семьи. Уважение к нему и пред ним преклонение естественно переливается от старших — отца, матери. Тут некий авторитет любви. Он укрепляет и освящает непосредственное впечатление. Но чтобы так было, нужна свобода и любовь. Школа этого дать не может. Да и читает теперь Гоголя не дитя, а отрок, юноша. «Мертвые души», «Ревизор» —

темы для сочинений «О значении Гоголя в русской литературе», о «гоголевских типах» — все это нужно, полезно... но казенно. Конечно, «Мертвые души» прочитаны, и без всяких учителей ясно, что это первый сорт, и еще лучше, что читаны летом, на каникулах. А когда надо писать о них сочинение, то выходит и правда мертво, скучно. Рисунки Боклевского<sup>1</sup> — Чичиковы, Ноздревы, Коробочки, Кувшинные рыла, — их интересно срисовать на листок ватманской бумаги, но все это делается в блаженные часы вольности и свободы.

А затем, в студенческие годы, наступает перерыв. Гоголь прочитан, это «классик», великий писатель... ну и Бог с ним. Он отходит. Его переиздают, растет литература о нем, изучают его рукописи и устанавливают тексты. Близится столетие рождения Гоголя, и в Москве ставят ему памятник.

Этот памятник вызвал много шума и нареканий. Он стоит на Пречистенском бульваре, пред Арбатскою площадью, где некогда бывал поэт в доме Аксаковых. Гоголь изображен сидящим — сгорбленный, усталый, измученный, с заостренным своим носом<sup>2</sup>.

Памятник вдохновлен новым пониманием Гоголя. Удачно или неудачно исполнен, в нем есть отголоски писаний о Гоголе Мережковского, Брюсова. Учителя гимназий нас учили, что Гоголь — основатель реализма русского и творец нашего романа. (Так что *художнический* путь к Толстому казался ясным.) Русский же символизм усмотрел в нем иное. «Гоголь и черт» называлась книга Мережковского. «Испепеленный» — статья Брюсова. Все внимание устремлено теперь на внутренний его мир. По Мережковскому, жизнь Гоголя была сражением с чертом, которого хотел высмеять автор, но пал в бою. Брюсов брал Гоголя как сожженного страстями, не нашедшими выхода.

Гоголь повернулся новой стороной. Интерес к нему усилился, и несколько по-иному вновь перечитывает его молодой человек. Находясь в атмосфере обостренного отношения к *слову* — что типично для эпохи — ближе всматривается в стиль Гоголя.

Это — та встреча, когда впервые восхитится читатель сознательно музыкой гоголевской прозы, ее ритмом и напевом. (Воистину: имеют книги судьбу! Сколько бранили при жизни Гоголя за его язык, неправильности, грамматику. А теперь как своеобразными кажутся его строки, льющиеся по каким-то сложнейшим, лишь прозаикам ведомым законам!) Именно в этом чтении самостоятельно вглядывается читающий в то, как располагал слова поэт, какие

любимые у него обороты, выражения. Как он *отделял* свои произведения. По тому же тихонравовскому изданию, по которому некогда ему читали Гоголя, он сличает первоначальные редакции с детства родных произведений с позднейшими. Учится тому, как должен над словом работать художник. Как, готовя к новому изданию, перечитывает он, выправляет свои писания. Подтягивает и укрепляет фразу. Добивается большей яркости и живописности. Выбрасывает из какой-нибудь «Сорочинской ярмарки» лишние эпитеты — молодость всегда многоречивее, чем надо. То, куда несет юного поэта воображение и лирический темперамент, поэтом зрелым всегда обуздывается. Но не без удивления замечает читатель, что с «Тарасом Бульбой» случилось обратное. Он не усох, а раздался вширь. Тут дело особое и не противоречит общему правилу. «Тараса Бульбу» Гоголь не то чтобы стилистически обрабатывал, а внутренне растопил и перелил в новые, обширнейшие формы. Получилось новое произведение.

Перечитываются и «Ревизор», и «Мертвые души». Теперь кажется, что глубже они поняты, Хлестаков и Чичиков представляются чуть ли не мировыми типами-масками, личинами мелкого зла. Лирические места «Мертвых душ» особенно прельщают.

Не одной стилистической, музыкальной и лирико-философской стороной Гоголя это второе чтение ограничивается. Читатель пытается проникнуть за ограду Гоголя канонизированного и школьного, кончающегося первым томом «Мертвых душ». Теперь впервые прочтет он «Выбранные места из переписки с друзьями».

Из этой книги главнейшие «дойдут» статьи по искусству: «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», «О лиризме наших поэтов», «Исторический живописец Иванов», «О существе русской поэзии». Морализирование, отдельные мысли других частей покажутся прописными и слащавыми. Тон местами высоко поэтический, местами впадающий в елейность. Но общее впечатление: лишь огромный писатель и глубокой необыкновенности человек мог ее написать. А Белинский и современники, единодушно эту книгу отринувшие?

Впервые прочитывается знаменитое письмо Белинского о «Переписке» с обвинениями Гоголя в прислужничестве пред знатными, с намеком на религиозное помешательство. Гоголя называет Белинский «апостолом кнута и невежества» — и этими, им подобными строками вполне против себя восстанавливает. Читателю кажется, что если говорить о помешательстве, то лишь безумец

подумает, что «Переписка» написана с целью получить место воспитателя Наследника.

Во всяком же случае, читатель хочет узнать о писателе, с детства любимом, нечто большее: принимается за письма.

Но он еще слишком молод. Его жизненный и душевный опыт мал.

Он в полосе *только* эстетического отношения к писателю, и о духовной жизни просто понятия не имеет. Письма Гоголя кажутся ему сероватыми. В них нет той яркости, того обольщения, как в некоторых местах «Вия», или «Портрета», «Рима». Они представляются ему более расплывчатой прозой, не такой выделанной, без той остроты и блеска, какие есть в повестях. Ему кажется, что их надо бы еще уплотнить, осолить. И зачитываясь одновременно письмами Флобера, он четырех шенроковских томов не одолевает. В сущности, не доходит до самого важного, самого главного. Видит Гоголя времен Нежина, юношей в Петербурге, первые успехи, немного Италии. Но до зрелой поры не добирается.

И Гоголь рисуется ему еще в классических, хотя и расширенных, уже не школьных, но чисто-литературных очертаниях, автор «Вечеров», «Миргорода», «Ревизора», «Мертвых душ», лишь отчасти и «Переписки с друзьями», Гоголь представляется, конечно, не реалистом, основателем романа русского, и не юмористом-сатириком, осмеявшим Россию Николая I, а скорее писателем фантастическим, населявшим действительность своими чудищами.

Как и памятник на Пречистенском бульваре, этот облик Гоголя сильно окрашен пониманием его, связанным с эпохой символизма.

\* \* \*

Вновь на целые годы выходит Гоголь из круга внимания. Отдельные вещи иной раз перечитываются, но общее мнение о нем, *общее ощущение Гоголя* приблизительно то же, что и в сознательной молодости.

А жизнь идет. Мировые события, катастрофы, трагедии... — гибель прежней России, Гоголя породившей. Изгнание, жизнь на чужбине. Чем далее идет время, тем сильнее чувствуем мы здесь свое одиночество. Все более уходим душою с чужой земли, возвращаясь к вечному и духовному в России. Вновь перечитываем многое, на чем возрастали, по-новому его ощущая.

Становится почти жутко, когда подумаешь, что вот уже в последний раз пересматриваешь святыни родной литературы Толстого и Достоевского, Тургенева, Гоголя. Вечные спутники! Но не вечно самим себе равные, с разных сторон раскрывающиеся, по-разному воспринимаемые, сопровождая нашу жизнь.

Может быть, не случайно к Гоголю в этом пересмотре обращаясь позже всех. С детства как будто насквозь ведомый писатель в молодые годы изучал его лабораторно. Что может он дать нового? А рядом некое смутное опасение: вдруг поблекнет давнишнее, полулегендарное обаяние, под которым прошла жизнь? Первые впечатления как будто дают к тому повод. «Вечера на хуторе» перечитываешь «спокойно»... Конечно, в пределах задач своих юноша-художник осуществил все, что нужно, сразу показав удивительный звук языка своего, дотоле нашей прозе неведомый. Показана зрительная изобразительность первосортная, и внутренний слух для диалога, и чувство людей, и умение их дать полнейшие. И все-таки это введение. Замечательное, но введение. Не больше того.

«Миргород» дает Гоголя ранней поры уже во весь рост. С радостью и волнением перечитываются «Старосветские помещики» — все та же вечная печаль без крика, без напора. Тайна и трагедия. «Старосветские помещики» владеют искушенным читателем так же, как владели ребенком и юношей. Пусть искушенный заметит кое-какие мелочи (напр., страницу, стоящую несколько «ребром»), на что раньше не обращал внимания — но это уж придирчивость профессионала. Нисколько не пошатнулись ни «Вий», ни «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Это, конечно, тоже шедевры. В разных родах, но полные удачи. В «Вие» дьявольское еще в романтическом, сказочном облике (но есть и внутренний демонизм произведения), в «Повести» это дьявольское, хоть и на фоне Малороссии, впервые приобретает всеобщий, пусть и менее *броский* вид: появляется облик скуки, ничтожества, глубокой горести от жалкого вида жизни. Поражаешься, как Пушкин нашел эту печальнейшую повесть (с нелепейшим названием из десяти слов) — *только* смешной.

Но вот «Тарас Бульба», даже в зрелой его обработке, во многом разочаровывает. При всей мощности поэзии, при силе, удаче фигуры самого Тараса, а из второстепенных Янкеля, все-таки эта повесть слишком уж «для юношества», ее внутренняя тема элементарна. Тема Сенкевича, попавшая в руки Гоголя...

Из Гоголя петербургского периода, когда о Малороссии уже все сказано, особенно врезаются «Нос» и «Портрет». «Нос» — ранее вполне недооцененная вещь, предел гоголевского гротеска, как будто бессмысленная история, *неразъясненная*, без всяких комментариев, но выражающая поразительно нечто в манере Гоголя видеть мир. «Портрет» важен для авторской психологии — истории его дел с чертом, борьбы с ним, заушения дьявольского начала. Мрачен и таинствен воздух этого произведения, есть большой яркости места, но есть и схематичность и надуманность. Во всяком случае, это не шедевр, как и прославленная «Шинель» — сейчас кажущаяся в «гуманитарной» своей части слащавой, а в фантастической не весьма убедительной.

Третий и высший круг гоголевского писания художнического: «Ревизор», «Мертвые души». Первое, что бросается в глаза: поэт увенчан комедией и неоконченной поэмой. Итог всей жизни — одна комедия и начало некоего большого произведения. С внешней стороны будто бы маловато.

«Ревизора» перечитываешь со смешанным, двойственным чувством: каждая строчка горит, кипит, чуть не каждую фразу наизусть знаешь. Ничто не побледнело, не стерлось. Как густо написано! Постройка всегда представлялась мне дугообразною — с первого действия арка подымается, ровно, естественно, доходит до высшей точки и так же плавно, под звон колокольчика улетающего Хлестакова закатывается. Замечательно! Фигуры — что же говорить о фигурах, мы сжились с ними, это, конечно, особенный мир, не так уж похожий на действительность — начертанный чуть ли не гениально... и все-таки в «Ревизоре» есть нечто неосновательное, как бы и раздражающее. Точно автор и дразнит, местами впадая в водевиль, и сейчас же опять покоряет. Когда читаешь «Казаков» или «Дворянское гнездо», этого чувства нет. Все ясно, верно, никаких двусмысленностей. Никакой опасности провалиться. В «Ревизоре» же есть нечто от наваждения. Наваждение с чиновниками, принявшими невероятного мальчишку за ревизора. Наваждение с критиками, принявшими все это за подлинную картину России. Наваждение с автором, *post-factum* придумавшим глубочайший смысл произведению (ответ на Страшном суде). Наконец, сам читатель испытывает наваждение: может быть, это гениально? А вдруг — просто пыль в глаза, все *не настоящее*, обманное? Может быть, и меня так же обманули, как и всех?

История с ревизором удивительна, написана каким-то необычайным существом, но подозрительна. Она создана человеком, еще не преодолевшим в себе Хлестакова.

«Мертвые души» гораздо крепче, хотя Павел Иванович Чичиков тоже довольно странного происхождения... Считать ли, что Чичиков и Хлестаков мировые типы (облики пошлости каждодневной), что в них-то Гоголь и поразил черта, посмеялся над ним, или брать дело менее планетарно, утверждая лишь, что он в них влил нечто тягостное и мучительное из своей души, как бы свои некие черты в них распял, что и сделало их столь неотразимо ранящими, во всяком случае, в «Мертвых душах» достиг Гоголь предела своей власти художественной. Тут школьное воззрение удерживается и взрослым. Да, Гоголь показал яркость почти страшную. Чичиковы, Ноздревы, Собакевичи, Коробочки в мир выпущены. Нельзя не верить в их существование, хотя это воистину «игра ума!». Сила галлюцинации в «Мертвых душах» родственна магии и — пожалуй — имеет даже неблагоприятный характер. Что-то есть в ней общее с вызыванием духов. В «Войне и мире» фигуры не менее яркие, а воздух произведения иной. Над «Войной и миром» радуга. Но неотразимо горестны «Мертвые души».

Некогда Полевой полагал, что «искусству нечего делать с «Мертвыми душами», являющими «упадок дарования прекрасного»<sup>3</sup>. Жизнь над мнением Полевого посмеялась. То, чему детей учат в школе о достоинствах «Мертвых душ», правильно. Но дети так же мало знают, как и Полевой, что высочайший шедевр Гоголя в то же время и великий этап во внутренней его жизни: последнее писание «для всех», для славы, лавров, хрестоматий. На том художественном пути, по которому шел он, кристаллизироваться крепче, чем в первом томе «Мертвых душ», и лучше вызреть было уже нельзя. Но самый путь его не удовлетворял. Он перерос его.

\* \* \*

И в более раннем знакомстве с Гоголем читатель знал, что существует вторая часть «Мертвых душ». Читал — без особого удовольствия — сохранившиеся главы. Знал, что остальные были сожжены, что в конце жизни своей Гоголь писал мало, был подвержен тяжелым болезненным припадкам, чуть ли не сошел с ума и странно умер.



Это знание было внешним. Мало задевало сердце и существо читателя. Он довольствовался искусством Гоголя. Но когда искусство это пересматриваешь теперь, начинаешь ощущать, что всего Гоголя оно не дает или дает неполно. Пушкин и Флобер — все в своем искусстве. Они — это их артистические достижения. С Гоголем иначе. Если «наследство» его взять музейно, как прославленные сокровища, оно всего и настоящего Гоголя не покажет — даже, может быть, чуть-чуть разочарует.

И круг проникновения в Гоголя расширяется. Вновь появляются «Переписка с друзьями», письма, но теперь и «Авторская исповедь», и раньше совсем незамеченные «Размышления о Божественной литургии».

В этих чтениях складывается более полное и сложное представление о Гоголе.

Этому необыкновенному человеку были даны дары и свойства разнообразные, иногда противоречивые. С ранних лет, с остротой болезненно-гениальной видел он смешное, убогое, безобразное. Вот мир, где он как будто дома. Он и смеется, и тоскует в нем. Однако же, чем старше становится, тем ясней чувствует, что не только в окружающем, но и в нем самом есть нечто ужасное. «Собрание всех возможных гадостей» ощущал он в своей душе. Что именно? Вероятно, сложная и запутанная сеть мелкого греха, которая его ужасала. Убедительность, сила и верность, с какой изображал он жалкие и ничтожные черты человека, указывают на то, что говорит он тут о *родном*. Да, подполье какое-то в нем было, еще до Достоевского. (Он первый по времени русский писатель с подпольем.) Иногда несет оттуда мраком и холодом. Все, лично Гоголя знавшие, сходятся на том, что *пестр* и странен был Гоголь: то очарователен, то совсем неприятен.

Чувствуя и видя такое в мире (и себе), обладал он и волшебным изобразительным даром. Отсюда вся *удавшаяся* часть его писания, вся часть *видимая*. Ее завершение — первый том «Мертвых душ».

А другая его сторона совсем иная. С детства несокрушимая вера в Бога... «Страх Божий» — доходящий тоже до болезненного, чувство великой ответственности за свою жизнь, ощущение полученного *задания*, которое надо выполнить. Не то, чтобы издавать «звуки сладкие», а осуществлять в жизни Божье дело, *действовать*, помогать движению собственной души и других душ к «небесным звукам». Не одно низменное и пошлое дано чувствовать этой душе! В ранней молодости — это поэзия Малороссии,

позже прелесть Италии, еще позже — высшая спиритуальность религии.

Некогда тот же Полевой издевался над отрывком Гоголя «Рим» («Аннунциата»).

Перечитывая «Рим» теперь, видишь, насколько произведение это полно *настоящего* восторга, сколько в нем гимна — красоте женщины, Италии, восхищения пред полупатриархальной жизнью Рима того времени, любви к простому народу и юмора *очень доброго*, вот это удивительно! А ведь «Рим» написан почти одновременно с «Ревизором».

Был у Гоголя еще дар, прекрасный, но не дающий покоя: стремление стать лучше (сознавая свои несовершенства). Как это всегда бывает, в молодые годы жил он несознательно. Были творческие силы, он им отдавался. Но писал не раздумывая, что Бог на душу положит. Да и о себе самом «меньше размышлял». («Чистая литература», «чистая поэзия» всегда так и создается). Но с некоторого времени, работая над «Мертвыми душами», начинает он все более задумываться — входит в иную полосу. Не вечно же пребывать с Хлестаковыми и Чичиковыми — неужели ими весь мир ограничивается, и в его собственной душе одни «гадости», столь удобные для изображения?

И вот, если есть в тебе «гадости», надо их преодолеть. Это «надо» не внешнее принуждение, это устремление всего существа, в известный момент жизни громко сказанное. Гоголь становится на путь духовной жизни, молитвы, самопроверки, непрерывного общения с Богом — началом светоносным и несущим благо — тот путь, где частицу божественного света усваивает и себе человек. Гоголь как бы проветривает свою душу, впускает в нее свежий воздух, впускает и свет — вернее, *дает свету войти*, делая минимальное усилие: высветляет ее. Это есть уже искусство жизни. Создание *из себя самого* некоего лучшего произведения. Последнее десятилетие его есть жизнь полумонашеская. Она имела громаднейшие последствия для самого Гоголя и для всей русской литературы, которую *свернули* с пушкинского пути духовные годы Гоголя.

Последствия оказались грандиозны, сложны, в некоторых отношениях приобрели даже трагический характер.

Аскеза давалась Гоголю, по-видимому, трудно. С одной стороны, он подымался, одухотворялся и рос. Выше и глубже становился его взгляд на человека, мироздание. И *дело* жизненное —

самоусовершенствование и деятельная любовь к людям, их и свое спасение — ярче выдвинулось. Но в вековечном, тягчайшем деле духовного пути — преодолении гордости — успехов, видимо, насчитывалось мало. Скорее, не было ли тут поражений!

«Выбранные места из переписки с друзьями» надо оценивать, правильно понимая ту полосу духовного развития, в которой Гоголь находился. — Книга писалась после тяжкого периода упадка духа, болезней, первого сожжения «Мертвых душ» (II ч.). (В 1845 году Гоголь думал, что умирает, и во Франкфурте звал даже священника, чтобы причаститься. Но выздоровел. И в новом приливе сил, отложив недававшиеся «Мертвые души», написал в несколько месяцев, запоем, «Переписку» \*.)

Она отразила и огромный шаг вперед Гоголя в смысле спиритуальном, и недостигнутую еще гармонию. В ней именно есть дисгармония. Рядом с крайним смирением, публичным покаянием крайняя гордыня. Рядом с истинно пророческим тоном некая заносчивость, сухое проповедничество. В ней тоска и восторг, глубина и наивность, великая вера в человека и великое ощущение силы зла. Да, уж никак не назовешь здесь Гоголя христианином *среднего, серенького* типа! Не было в нем никакого *благополучия!* Или спасение, или гибель. И надо сказать: ужас гибели непомерно велик! (Одно из слабейших мест Гоголя: страх, а должна бы быть — любовь.)

«Переписка» книга такая, что, читая ее в зрелом возрасте (а ее только в зрелом и можно читать), нельзя ее *не переживать*. Она именно не *читается*, а *переживается*. «Переписка» действительно может волновать, иногда восхищать, иногда удивлять и даже вызывать улыбку, но это то, что говорит о пути жизни и спасения, о борьбе человека за лучшее в себе... — вообще «о важнейшем». Это книга героического духа. Тут уже не до смеха или развлечения.

«Переписка», одна из замечательнейших книг литературы нашей, провалилась совершенно. Не только Белинский, Гоголю чуждый, но и друзья Гоголя, во многом ему близкие, ее осудили. Враги же затоптали вовсе. Ругали в прессе, обществе, ругали самого автора, считая, что он не то сумасшедший, не то плут, а во всяком случае, ханжа, написавший вздор. Увы! представители Церкви тоже его не поняли (арх. Иннокентий). «Гордыню» заме-

---

\* Более подробно в замечательной книге Мочульского «Духовный путь Гоголя».

тили все, а вот *какую* душу раскрыл человек, этого почти никто не оценил. (Старенькому Плетневу, да калужской губернаторше Смирновой за неизменную и одинокую защиту Гоголя — да будет легка земля!)

Если считать, что Гоголь боролся с дьяволом, то приходится допустить, что тут вечный его противник напустил тумана в глаза и навел марево даже на людей, казалось бы, *обязанных* Гоголя понять.

Гоголь все это испил. Тут не просто неудача книги, это провал жизненного дела. Человек хотел поделиться результатами довольно долгой уже духовной жизни, кого-то поднять, чему-то научить... А ответ? «В меня все ближние мои бросали бешено камня»<sup>4</sup>. Он жестоко страдал. В письмах той полосы это чувствуется. Но как еще вырос в этих терзаниях! Как необыкновенно высок тон «Авторской исповеди»! До какой степени сдержаны, скромны, благородно-смирненны его ответы и возражения в письмах по поводу «Переписки». Человек просит только об одном: если даже с ним не согласны, пусть все-таки верят, что хотел он добра, писал из побуждений чистых. Гоголю приходилось убеждать о себе, что он *не* плут и надуватель!

Павел Иванович Чичиков и Иван Александрович Хлестаков слишком прилипли, во мнении общества, к Николаю Васильевичу Гоголю.

А в действительности, написав их и пустив гулять по свету, он как раз от них и освободился. Он изжил их и шел уже иным путем: но никто или почти никто этого не понимал.

Ныне многое стало виднее. Если сравнить сейчас «Переписку», «Авторскую исповедь», письма последующие, «Размышления о Божественной литургии» с прежним его писанием, станет ясно, какова разница между Гоголем зрелым и молодым. Он сам понимал, что стал другим и что нельзя упрекать его за то, что пишет он теперь по-другому. Да, его яркость, образность, краски Малороссии, «чуден Днепр при тихой погоде», равно как и шуточки, смех «Женитьбы» или «Коляски» навсегда ушли. Ушли и поразительно написанные Ноздревы с Собакевичами. Нечего ему делать теперь ни с Коробочкой, ни с Хлестаковым, ни с Маниловым. Совсем в иной мир он внедрен. Самое слово его одухотворяется. В нем нет уже ничего резкого и кричащего, бьющего в глаза краскою или рисунком гротескным. Все теперь *внутренне легче*, спиритуальней. Воздух его *этой* прозы — спокойствие, музыка сдержанная и слегка приглушенная. Мало

зрительных образов. Тут уже нечем блеснуть. И не до блистания. Некий ровный, серовато-жемчужный налет над его страницами. А строка звучит тонкими, удивительными, гоголевскими — еще не изученными — ритмами.

\* \* \*

И вот все-таки истинного умиротворения («искусство есть примирение с жизнью»), гармонии и последней просветленности не удостоился Гоголь. За гармоническими и духовными строками жил автор, далекий от покоя.

Одновременно с писаниями своими лирико-философическими и религиозными он продолжает труд, который считал главным в своей жизни: «Мертвые души». «Не оживет, аще не умрет»<sup>5</sup>, приводил слова Апостола, применяя их к первому сожжению второй части «Мертвых душ» (1845). До самой смерти (1852) трудился над ними. И... — опять сжег. Но уже тогда умер сам. Воистину, вместе со своим творением.

А пока жил, неустанно мучился над второю частью «Мертвых душ». Новое свое душевное состояние он применял к произведению, зачатоу совсем в другом воздухе — и отчасти даже другим человеком. Теперь он задыхался среди Чичиковых и Собакевичей. Все его существо было настроено совсем на иной лад. Эту настроенность приходилось подгонять к делу неподходящему. Воплощать, объективировать теперешние свои состояния было не во что. Не являлось таких фигур, какие были ему нужны. Он выдумывал лица неживые, разных Костанжогло и Муразовых, впадал в морализирование, необедительно «обращал» к добру Чичикова, вводил какого-то добродетельного генерал-губернатора... Мог ли, при его силах, быть всем этим доволен? (Когда раньше писал уродов, то *художнически* ими любовался. Без любования невозможно искусство. Но Муразовыми, Костанжогло, генерал-губернаторами никак не мог любоваться: да их просто и *не было.*)

Может быть, Гоголь, пройдя полосу крайнего морализирования, желая непременно поучать, чуть не насильно вести к благу, и успокоился бы, и, взявшись за писание иного рода, где сияла бы его восторженность, его жажда небесных звуков, написал бы произведение живоносное, обвеянное Духом Святым. Но — это не были бы «Мертвые души».

Намеком на такую возможную удачу является замечательное его предсмертное произведение «Размышления о Божественной литургии». Не берусь судить о нем со стороны богословской. Но как поэзия и литература это прекрасно, полно истинной гармонии, духовности и под скромным обликом описания церковной службы дает в самом напеве своем, в прозрачности, внутренней просветленности как бы отражение в словесности духа Литургии. В «Размышлениях» Гоголь поступил как музыкант, в зрелом возрасте перешедший от создания светской музыки к созданию церковной.

Может быть, если бы он вполне оставил прежние литературные формы и для нового своего духовного содержания искал нового писания, не имеющего отношения к Чичиковым, но и лишённого дидактизма (ведь и «Размышления» ничего не навязывают, они изображают, отображают) — возможно, все было бы по-иному и жизнь его приняла бы другой вид.

Но судьба Гоголя, в плане земной жизни, была трагической. Ему предстояло все биться вокруг «Мертвых душ», мучиться и тем, что они не удаются, и тем, не написал ли он чего-нибудь вредного, за что придется дать ответ.

\* \* \*

Опасение, что Гоголя слишком хорошо знаешь, что он исчерпан и при перечитывании не даст нового или даже побледнеет, не оправдывается. Читаешь его по-иному и находишь не совсем то, что думал найти... Но находишь очень многое. Замечательна разница с Толстым. Перечитывая Толстого, в сущности, дальше «Войны и мира» и «Анны Карениной» идти не хочется. С Гоголем иначе, хотя сильнее первого тома «Мертвых душ» и он ничего не написал. Но своим путем, фигурую — Гоголь зовет дальше. Толстой «толстовством» не только никуда не зовет, но само это слово кажется сейчас пережитком. Толстой при жизни основал секту, едва ли не обожествлявшую его. Гоголь умер под знаком ханжи, чуть не полоумного и должен был доказывать, что он не плут. Но прошло время, и от толстовской секты остался дым, а Гоголь подвижником входит в духовную нашу культуру. Его путь, по загадочной странности неузнанный многими близкими, — вечен, и лишь теперь начинает распознаваться. Его литературные удачи,

превосходные успехи, так успехами и остались приблизительно в тех же очертаниях, как казались и раньше. Тут нет особых неожиданностей. Меняются лишь *оттенки*. Подтверждается и одно детское впечатление: мало доходит сейчас *комическая* сторона его дара. Но бесспорно, облик его вырос, усложнился, этот лик особенно сильно сквозит теперь в писаниях его зрелых и *не-прославленных*, а частью и оклеветанных. Да и сама жизнь его, и его судьба входят в его творение: он *нечто написал самим собой*. Станным образом выросла даже личная к нему близость. Не совсем так, как прежде, стал, однако, Гоголь внутренне дороже русскому человеку современности — во всех сложностях своих, греховностях, подполье, противоречиях, величии и слабости, одиночестве, непонятности, в духе героическом, в скитальчестве и нищенстве. Да, он стал гораздо более *свой*, чем раньше! Ибо душе юной, еще не потрясенной и не пронзенной, он *всего* своего лика не открывал. И его горечи и трагедии юноша сопереживать не может.

Чтобы дать его образ, надо написать его жизнь — постараться пройти за ним внешний и внутренний его путь. Это особое дело. Здесь же можно только сказать, что, приглядываясь к Гоголю великорусской его полосы, видишь его живее, полней, человечней, чем давали его символисты и чем изобразил скульптор памятника на Пречистенском бульваре. Символизм понял Гоголя несколько по-новому, это бесспорно. Но сейчас есть и некое внутреннее противление этому пониманию. Гоголь и черт! Остро, но схематично. А не из схем состоит человек. И вовсе не обязательно похож Гоголь на какого-то нетопыря Пречистенского бульвара. Без конца трудно представить себе Гоголя *живым, настоящим*... — например, понять тайну его комизма. (В самом лице его было нечто особенное, ему достаточно было, читая «Женитьбу», сделать какую-то легкую гримасу и присвистнуть, и слушатели валились со смеху.) *Это* сейчас в нем утеряно. Символисты же и не пытались жизненное в нем *восчувствовать*. Не выудишь из Валерия Брюсова, что Гоголь любил детей, а это именно так: вот этот Гоголь, якобы только и занимавшийся чертовщиной, детей любил, и дети его любили. С Аксаковыми и Погодиными бывал высокомерен, а с ямщиками, слугами острил и хохотал напропалую. В Калуге, совсем незадолго до смерти, играл в шашки с купцами в торговых рядах, в Оптиной пустыни смиренно беседовал со старцами, а когда ехал в коляске из Калуги в Москву, то выскакивал из экипажа, с детской радостью срывал цветы. Любил бедных, нищих — сколько раздавал из гро-

шей своих! — Шел в жизни горькой тропой. Все — для великой цели. Неважно, что «Мертвые души» пишутся в Риме, в скромнейшей комнате с раскладным столом посередине и рядом постелью — это неважно, потому что Гоголь не делец от литературы, а святой и мученик ее. «Милая сестра, люби бедность!» «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». Так что неважна скудость обстановки, а важно то, чтобы хорошо, как следует написать «Мертвые души», послужить Богу, не ошибиться пред Ним и не вызвать Его гнева.

Гоголю дана была труднейшая и страдальческая внутренняя жизнь. Сомнения, тоска, даже отчаяние посещали его. Посещало и страшное чувство безблагодатности, оставленности Богом. Крест тяжчайший! Но с какой покорностью, смирением он его нес! Жизнь его была мучительной, но кончил он ее *не* в поражении. Пусть «Мертвые души» *его замысла* не удались. Все равно, он прожил героически. И заслужил терновый венец — увенчание великих жизней, пусть и кажущихся неудачами.

